

страпии своей силы: он *вынужден* принять бой. Налицо «выбор без выбора»: Назар болен, изможден и не в состоянии выбирать пути для спасения своего народа, он вступает на тот, который предоставила ему судьба. «Пусть его охота за птицами — ничтожное дело, зато *оно единственно возможное*, пока не прошло его изнеможение (...). И убогий, малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, — все же утешал Чагатаева».

Борьба Чагатаева с орлами дана в картинах, рассчитанных на легендарные ассоциации (бой Прометея с орлом, прилетающим терзать его печень) и очень насыщенных в своем содержании. Так, подвиг оказывается столько же значимым для Чагатаева, сколько и для заинтересованных свидетелей его — еле живых людей племени джан. Чагатаев понимал, что малое мясо птицы «послужит (им) *не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом*, оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтобы опустевшие смиренные глаза снова заблестели и увидели рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающе и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью». Так непосредственно высказалась трактовка народа джан как аналога всего человечества в этой повести-легенде. Кроме конкретного смысла каждая сцена «Джан» несет в себе «второй» — обобщающий, выводит события повести на широкие вневременные и внепространственные горизонты.

Приходом в урочище Усть-Урт — давнее место обитания народа джан — отмечено возрождение в сознании Чагатаева идеи счастья, частично утерянной в мучительных скитаниях, как идеи действенной. Чагатаев «был недоволен той обыкновенной скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы», чтобы люди народа джан приобрели хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них, чувства «эгоизма и самозащиты». Чагатаев мечтал о пробуждении индивидуальной души в каждом «бедном человеке» из его народа, «одухотворении» народа в целом.

Но условиями легенды, когда народ джан отделен от всего мира пустыней и обречен спастись от смерти, только опираясь на собственные силы, не предусмотрено подобное духовное пробуждение. Легенда традиционно завершается спасением людей от смерти, поскольку эта удача уже сама по себе предопределяет счастье жизни (раз она не смерть). И поэтому закономерно нарушение (на этом витке миссии Чагатаева) условий легенды — он едет в город за помощью — и она приходит: фары машин (знак «взорванной легендарности») впервые осветили «адово дно древнего мира».

Эпилог повести, следующий за этим эпизодом, подобно прологу, — повествование, лишенное какой-либо условности. Народ джан стал есть и пить, и спать, как все народы. И тут сам собой обрел те чувства «эгоизма и самозащиты», какие есть у всех народов и без которых нельзя ощутить жизнь как таковую и счастье как ее цель. Сначала все их существование было дорогой в смерть, потом бегством от нее и возвращением в жизнь, и в этом существовании, развиваемом по законам легенды, они были «народом», единым целым, переживающим общую судьбу. В эпилоге единство, естественно, распалось: каждый оказался в силах взять в руки свою судьбу, взвалить на свои, пусть еще слабые плечи бремя поисков своего счастья. И... люди племени джан, покинув Усть-Урт с его теплом и сытостью, разбрелись в разные стороны. Чагатаев, наблюдавший за этим новым исходом, «вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего *одного небольшого сердца, из тесного ума* и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дна древнего